

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ

Книга воспоминаний

Том 3



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва 2007

ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Л 93

Грант Президента РФ
для поддержки творческих проектов общенационального значения
в области культуры и искусства

Любимов Николай

Л 93 Неувядаемый цвет: Книга воспоминаний. В 3 т. Т. 3. — М.: Языки славянской культуры, 2007. — 392 с. — (Вклейка после с. 192.)

ISBN 5-9551-0202-7

Третий том воспоминаний Николая Михайловича Любимова (1912—1992), известного переводчика Рабле, Сервантеса, Пруста и других европейских писателей включает в себя главу о Пастернаке, о священнослужителях и их судьбах в страшные советские годы, о церковном пении, театре и литературных концертах 20—30-х годов XX века. В качестве приложения печатается словарь, над которым Н. М. Любимов работал всю свою литературную жизнь.

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

В оформлении переплета использованы фотографии из семейного архива Любимовых, любезно предоставленные издательству Борисом Николаевичем Любимовым.

Николай Любимов
НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ
Книга воспоминаний
Том 3

Издатель А. Кошелев
Зав. редакцией М. Тимофеева
Корректор Е. Банькова
Оригинал-макет подготовлен А. Камкиным
Художественное оформление переплета А. Соломатина
Художник-консультант Л. Панфилова

Подписано в печать 22.06.2007. Формат 70 x 100 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Baskerville.
Усл. печ. л. 31,605. Тираж 1000. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры». ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. E-mail: Lrc@comtv.ru Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ISBN 5-9551-0202-7

© Любимов Н. М., 2007

© Языки славянской культуры, оригинал-макет, 2007

Содержание

Борис Пастернак	7
Благовестники	79
Мудрые звуки.....	108
Великое славословие	143
Мутное время.....	163
Послесловие	180

Былое лето

Театральная память	182
Художественный театр	193
В Малом театре	260
О Мейерхольде	270
Литературные концерты	278
Игорь Ильинский.....	289

Лингвистические мемуары

От автора	324
Родина.....	326
Внешний мир.....	326
Иррациональности.....	342
От детства до старости	342
Временные понятия.....	342
Судьба	344
Смерть и самоубийство	344

Жизнь человека	344
События в жизни страны	348
Общественное благоустройство и неустройство; общественная жизнь	349
Литература и искусство	350
Внешний облик человека; движения	351
Физические состояния	365
Проявления душевного состояния	370
Свойства.....	371
Способности	371
Чувства.....	374
Нрав, наклонности, умственные способности	380
Поведение	384
Устное общение	385
Повествовательные приемы	388
<i>Борис Любимов. Послесловие.....</i>	<i>389</i>

Борис Пастернак

...вся земля была ему наследством,
А он его со всеми разделил.

Анна Ахматова

Все дальше и дальше уплывает в даль прошлого день его похорон, но все ощутимее боль, что нет его с нами, и духовный облик его от времени лишь хорошеет, и все беззакатней, все праздничнее и животворней исходит от него и от его поэзии свет.

Я шел к поэзии Пастернака дорогой извилистой и долгой. Я полюбил ее любовью поздней, а поздняя любовь измен не знает.

До Перемышля сборники стихов послереволюционных поэтов доходили редко. В моей библиотеке был только четырехтомник Есенина «с березками». Стихи Пастернака и отрывки из его поэм «Лейтенант Шмидт» и «Девятьсот пятый год» я читал в «Новом мире».

Я с трудом воспринимал отрывки из поэм, не говоря уже о лирике. Мне было ясно, что это поэт высокой культуры, особенно резко бросающейся в глаза на фоне стихотворений подавляющего большинства его современников. Меня очаровывала звуковая вязь его стихов. Я читал его стихи, как большинство слушает так называемую «серьезную» музыку: непонятно, а слух нежит. Мало-помалу, однако, отдельные его строки впивались не только в мой слух — они уже говорили и моему глазу, и уму, и сердцу.

Конечно, меня потрясли своею смелостью — и художественной, и политической — заключительные строки из стихотворения на смерть Маяковского:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.
(«Смерть поэта»)

Или:

...телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Именно так ощущал я не только свою судьбу, не только судьбу моего поколения, но и судьбу всех вообще россиян, попавших под колесо «пятилеток», точнее — под колесо советского государства.

По молодости лет я проворонил, как, впрочем, проворонила его и советская цензура; как, впрочем, не разглядел заложенной в нем мины либеральный, но все же до известных, хотя и весьма широких пределов, Вячеслав Павлович Полонский, напечатавший это стихотворение в книге первой «Нового мира» за 1928 год; как, впрочем, не уловил его пророческого смысла и сам поэт и потом на него не оглянулся, ибо когда, в предпоследнюю мою встречу с ним (зимой 1960 года), я заговорил с ним об этом стихотворении, только что мною перечитанном, он проявил к нему полнейшее равнодушие, видимо, свалив его мысленно в одну кучу со всем своим уже неприятным ему поэтическим прошлым, что лишний раз доказывает, что люди искусства далеко не всегда ведают, что творят, — я прошел мимо стихотворения «Когда смертельный треск сосны скрипучей...» (1927).

Боже мой! Сколько из нас обрадовались, zalюбовались сначала февральским заревом, а иные — и октябрьским! Даже Клюев, весь из кондовой Руси, и тот поначалу кощунственно загуркотал:

Революцию и Матерь Света
В песнях возвеличим.

Сколько из нас не поняли, что блеск тот — мишурный, что то не звезды, а «лампионы», что русская пуща беспощадной подвергнется вырубке, что визгливо заскрежещут пилы, что тупо застучат топоры, что кряхтом закряхтят кряжи, что хрустом захрустят ветки, что брызмя брызнут пахучие, клейкие щепки, что всю землю устеляют восковой гробовой желтизною мертвые иглы елей и сосен и — некогда многоручная — пестрядь листьев, что всюду — куда ни глянь — станет пусто, голо: торчат кособокие угрюмые пни, хоть бы дятел тукнул, хоть бы жалостно прокуковала кукушка, хоть бы заяц дал стрекача, а после вырубки народится царство рябого лесника с увешанной впритык орденами грудью.

Когда я переехал в Москву, то даже такой верноподданный Пастернака и такой искусный и неумолимый пропагандист его поэзии, как Эду-

ард Багрицкий, сумел внушить мне любовь к отдельным его строкам и строфам, но обратить меня в пастернакову веру оказалось не под силу даже ему.

В Москве я получил доступ к сборникам стихотворений Пастернака и, конечно, не мог не восхищаться открытиями поэта и в природе, и во внутреннем мире человека:

...палое небо с дорог не подобрано.

(о лужах после дождя),

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель...

(о горах).

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук...

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкаю стать
И вся на рифму просится.

Леонид Петрович Гроссман, продолжавший заниматься воспитанием моего художественного вкуса и после того, как я перестал быть его студентом, как-то на память прочел мне стихотворение Пастернака, посвященное Брюсову, и вот оно захватило меня почти целиком — и образом, точно передающим бескорыстный и неугасимый учительский темперамент Брюсова:

Линейкой нас не умирать учили...

и четким сознанием того, что Брюсов оступился в конце жизненной своей дороги:

...Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь...

и, наконец, ясным пониманием того, где же мы живем:

...ум черствеет в царстве дурака...

А ведь это было написано задолго до периода сталинской тупоголовости и до хрущевского балагана — балагана даже не на уездной, а на сельской «ярманке».

Уже много лет спустя, в один из брюсовских юбилеев, Пастернак, любивший с невинным видом выкидывать коленца, читая это стихотворение, запнулся как раз перед этой строкой, и, будто бы забыв стихотворение, будто бы в смущении удалился с эстрады, тем самым подчеркнув дальнобойную строку несколькими жирными чертами.

И все же я в первые годы моего знакомства с поэзией Пастернака разыграл бы духом, если б мне тогда писатель Валентин Берестов привел с присущим ему ираклие-андрониковским даром изображать всех в лицах слова, сказанные Алексеем Николаевичем Толстым в ответ на вопрос, как он относится к Пастернаку:

— Пастернак — поэт замечательный... Начнет всегда хорошо, а потом зачем-то тыкается в разные стороны.

И все же я разделял мнение Абрама Захаровича Лежнева — разделял и там, где он говорит о культуре Пастернака, и там, где он говорит о «непонятности» Пастернака, и там, где он ее объясняет:

«Несомненно, что Пастернак наиболее культурный из наших поэтов. Увлечение музыкой и философией, немецкими и французскими лириками явственно сквозит из его стихов. Для него культура прошлого — не мертвые знаки, а живой и внятно говорящий смысл. Он ясно ощущает свою преемственную связь с ней и через века и десятилетия перекликается с Шекспиром и Гете, Лермонтовым и Ленау. Это ощущение культурной преемственности отличает его от футуристов, с которыми его обычно объединяют в одну группу. Футуристы старались оттолкнуться от всей культуры, созданной прошлым, — причем скорее в силу чувства, чем знания: они ее знали плохо. Пастернак... подобно Маяковскому... не заставил бы Мечникова и Лонгфелло прислуживать Вильсону — во-первых, потому что он их читал, во-вторых, потому что он их понимает.

Другой особенностью, отличающей Пастернака от футуристов, является... развитие и даже преобладание в его творчестве пейзажа. В этой области футуристы не дали ничего значительного. Для Маяковского при-

рода — только повод поострить, порассуждать, покаламбурить. Ощущение природы у него слабо и бедно. Наоборот, у Пастернака все лучшее в стихах связано с пейзажем. Он ощущает природу остро и своеобразно»¹.

«Пастернак пользуется смысловым затемнением как фактором эстетического порядка... его пресловутая непонятность есть для него средство так или иначе повысить эстетическую ценность произведения... она вовсе не самопроизвольна и нечаянна, а вполне сознательна. Пастернак пишет непонятно потому, что хочет писать непонятно»².

«Ни пропуск ассоциаций, ни смещение плоскостей не могут быть выведены из установки на ощущения целиком. Они производятся гораздо более часто и охотно, чем это требуется такой установкой. Причина, как мне кажется, лежит здесь... в... ограниченности пастернаковского материала, который нуждается для своего освежения в ряде приемов, создающих эффект неожиданности. Смещение плоскостей и опущение ассоциативных звеньев приводит к смысловому разрыву, к затрудненности понимания. Та же вещь, которая прозвучала бы обыденно и банально, приобретает характер новизны и значительности, когда вам приходится ее разгадывать, когда то, что должно быть показано, видно только отчасти, краем. Пастернак играет смысловым разрывом и кажущейся алогичностью как приемом»³.

Путь Пастернака показал, насколько был прав Лежнев: за тридцать лет до того, как Пастернак написал свои автобиографические заметки «Люди и положения», он указал на грехи молодости, в которых кается сам поэт и от которых ему удалось с такой чудодейственной силой избавиться.

«Непонятность» Пастернака была, разумеется, не врожденная, как, скажем, у Хлебникова или у Тихона Чурилина, а благоприобретенная и целенаправленная. Будь она у него врожденная, он вряд ли сумел бы от нее избавиться. Но до поры до времени он и не собирался от нее освободиться.

По слову самого Пастернака, «пепел рухнувших планет» пока еще, за редким исключением, вроде стихотворения «Брюсову», рождал у него всего лишь «скрипичные капричы».

Желание «впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту» пока еще воспринималось иным как кокетство.

¹ Лежнев А. Современники. Литературно-критические очерки. Круг, 1927. С. 46—47.

² Там же. С. 38.

³ Там же. С. 51—52.

«Я не знаю, что имеет в виду Пастернак, — замечает Лежнев в книге «Об искусстве»¹, — и все же отрадно слышать этот призыв к простоте или это сознание ее необходимости. Но меня останавливает странность определений. Возможно, что Пастернак и прав в том смысле, что так воспринимает литературное сознание иных современников простоту и стремление к ней. Но как должно быть заталмужено это сознание для того, чтобы простота казалась неслыханной и воспринималась как ересь!»

Поверил я в искренность стремления Пастернака, только когда прочел первые его переводы из грузинских поэтов, которые Бухарин печатал в «Известиях».

Я прочитал «Стол — Парнас мой» Яшвили:

Будто письма пишу, будто это игра,
Вдруг идет как по маслу работа.
Будто слог — это взлет голубей со двора,
А слова — это тень их полета.

Пальцем такт колотя, все, что видел вчера,
Я в тетрадке свожу воедино,
И поет, забивается кончик пера,
Расщепляется клюв соловьиный.

А на стол, на Парнас мой, сквозь ставни жара
Тянет проволоку из щели.
Растерявшись при виде такого добра,
Столбенеет поэт-пустомеля.
На чернил мишуре так желта и сера
Светового столба круговина,
Что смолкает до времени кончик пера,
Закрывается клюв соловьиный.

А в долине с утра — тополя, хутора,
Перепелки, поляны, — а выше
Ястреба поворачиваются, как флюгера
Над хребта черепичною крышей.
Все зовут, и пора, вырываюсь, ура,
И вот-вот уж им руки раскину,
И в забросе, в забвении кончик пера,
В небрежении клюв соловьиный.

¹ Лежнев А. Об искусстве. М.: ГИХЛ, 1936. С. 12.

В неслыханную простоту Пастернак впервые впал, переводя грузинских поэтов. Переводы грузинской лирики — это поворотный пункт в его «собственной» поэзии.

И, конечно, с еще большей силой поверил я, что грядет новый Пастернак, когда прочел его новые стихи в «Знамени» за 1936 год. От предварающих цикл од в честь самодержца я попросту отмахнулся — их можно было принять за насмешку: до того они были сознательно беспомощны и неуклюжи:

И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин и Сталин
И эти стихи.

(«Я понял: все живо...»)

Меня обрадовало признание поэта, что пока еще и он, Пастернак, отвечает скрипичным капричем на пепел рухнувших планет, а главное, призыв к поэту вообще и к самому себе в частности — вновь скрепить распавшуюся еще в конце прошлого века связь времен в русской поэзии, призыв — твердо знать, какое, милые, у нас тысячелетие на дворе и чем оно живет и полнится, ощущать ритм биения народного сердца и, не втираясь в шеренгу подлипал, как выразился тот же Борис Пастернак в следующем цикле своих стихов, напечатанных в «Новом мире» в конце того же, 1936 года («Из летних записок»), подразумевая когорту тогдашних одописцев, жить с народом единой жизнью, быть выразителем чаяний его, упований и устремлений, более того: влечь его за собой.

Не выставляй ему отметок, —

так определяет Пастернак истинное отношение поэта к народу.

Растроганности грош цена,
Грозой пади в объятия веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, — не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Пойдем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.
(«Все наклоненья и залог»...)

Это уже предвещало Пастернака «Рождественской Звезды», «Гамлета», «Магдалины», «Гефсиманского сада», «Быть знаменитым некрасиво...», «В больнице», «Души». Пастернаку претили формальные изыски, через которые он с таким блеском прошел («Все наклоненья и залог Изжеваны до одного. Хватить бы соды от изжоги!») и которые теперь вызывают у него горькую усмешку («Так вот итог твой, мастерство?»).

А перед памятными днями Шевченко (1939) Пастернак выбрал для перевода его поэму «Мария». И то, что Пастернак не отказался перевести что-либо из произведений как будто бы очень далекого ему поэта, выросшего из народных сказаний и песен, и то, что он остановился именно на «Марии», свидетельствует и о переломе в стилевой системе Пастернака, и о начавшейся его тяге к темам философским и евангельским.

Пройдет еще несколько лет — и я почувствую себя пыльной изжаренной веткой, на которую вдруг хлынул благодатный летний солнечный дождь стихов Пастернака,

А все в том же 36-м году подоспела «дискуссия о формализме», на которой Борис Пастернак между прочим сказал, что требовать от писателя: «Пиши то-то и то-то, так-то и так-то» — это все равно что требовать от женщины: «Роди мне мальчика или девочку», обращался к критикам с просьбой: «Орите на нас, товарищи, мы к этому давно привыкли, но хоть по крайней мере орите на разные голоса, а то все равно никто уже вас не слушает», и утверждал, что в статьях «Правды» об искусстве любви к искусству не чувствуется. В конце той же дискуссии Пастернака «за кулисами» упростили «покаяться». Ну уж он и сыграл «сцену в одном действии»! Что-то заранее вытверженное пробормотал, как сельский дьячок, а потом обратился к президиуму:

— Ну что? Я все сказал?

У одного из сидевших в президиуме, члена редколлегии журнала «Знамя» хватило ума и такта подойти к Пастернаку и что-то прошептать ему на ухо.

— Ах, простите, — выслушав его, извинился перед публикой Пастернак, — я вот что еще забыл...

И под смех сидевших в зале «покаялся» в чем-то еще.